

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



РОДИНА, НЕ БУДЬ СУРОВОЙ МАЧЕХОЙ...

* * *

На Родину! Там нежно пахнет снегом,
и в стуже — солнце зимнее слепит,
на Родину, где стал я человеком,
хотя и был не раз по-зверски бит.

На Родину! Поскольку больше нету
сил никаких любить ещё сильнее
синичье пенье, радуг самоцветы
и гул и шорох ледяных полей.

ПЕРЕВЕРЗИН Иван Иванович — известный русский поэт, автор двенадцати книг стихотворений, двух книг публицистики и одной книги прозы, изданных в России, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия “Полярная звезда” и Большой литературной премии России, а также премий имени Державина, Твардовского, Луконина, Рождественского. Заслуженный работник культуры РФ и Республики Саха-Якутия, председатель Международного Сообщества писательских Союзов, академик Академии журналистов Болгарии. Сборники его избранных стихотворений переведены и изданы в шестнадцати странах ближнего и дальнего зарубежья.

* * *

Зима с трескучими морозами,
с метелью, истоиво звенящей,
вновь обернулась тяжкой прозою
в неумолимом настоящем.

Но я, родившийся в Якутии
и гибнувший в пурге не раз,
в меха звериные не кутаюсь,
гоню тоску в суровый час.

В холщовой куртке, голоуший,
лишь ускоряю твёрдый шаг,
и сердцем успеваю слушать
о чём, как дрозд, поёт душа.

Ну, а мороз не знает жалости,
сдвигает брови всё мрачней...
И, как зверюга, без усталости
готов добраться до костей.

Не доберётся, как до рая, —
ведь я морозу сводный брат...
И так живу, что смерть лихая —
и та отводит в страхе взгляд...

* * *

А январь-то — в каком ударе!
Но не в зимнем... Во всей красе
очумелое солнце жарит
так, что тает снег на шоссе.

К чёрту — шапку, туда же — фуфайку!
Лишь в рубашке да брюках иду...
Во дворе чернохвостую галку
пёс облаивает на лету...

Вешний ветер путает волосы —
их без боли не расчесать!
И пускай! Ведь он моим голосом
всё сильнее начинать звучать...

СЛЕПЯЩИЙ СНЕГ

Всё нет морозов, нет морозов!
Зато ковром ложится снег,
от утреннего солнца розов,
пушист, как соболиный мех!

И дятла стук, раздавшись в чаще,
вспугнул берёзовую тишь.
И снег в лучах такой слепящий,
что лишь из-под руки глядишь...

* * *

Родина! Не будь суровой мачехой —
силы, что за жизнь мою потрачены,
в благодарность праведно приветь
даже не наградой, просто словом
добрым — и навеки мрак свинцовый
я смогу без страха одолеть.

Знаю: у тебя сынов хватает,
но не все из них, как подобает,
встали в строй, когда заклятый враг
полчища свои к твоим границам
двинул, чтоб не пели наши птицы
в рощах, и всюю клубился мрак...

Не приветить... Вот такое горе...
Но вопрос, как тополь на угоре,
встал чуть не до неба: “Почему?!”
Потому что, Родина, во власти
у тебя вскипают бурно страсти,
но, как жаль, совсем не по уму...

* * *

Война уже, считай, идёт всюю в России,
причём гражданская, которой нет страшней,
и бьёт свой своего, так озверев впервые,
что кровь течёт рекой всё чаще и полней.

О Боже, что стряслось, как помутился разум
у многих из своих, но не у всех же, нет!
Верховный, не тьяни с решительным приказом —
его исполнят все, кто верит в жизнь и свет.

Ведь как с глухонемым и подлым “президентом”,
чья власть условна, словно — не закон,
о чём-то говорить — и чудом ждать момента,
когда случится всё, что посулил вдруг он!

Но первый сделан шаг! Вернули Крым навеки...
Так сделаем второй: спасём от смерти их —
всех братьев и сестёр, и с верой в человека
оплачем павших, но в душе живых!

* * *

Я выпущен, как из пращи...
Где приземлюсь, не знаю сам,
но не останусь без души
и верности своим словам.

От ветра встречного в ушах
стоит невероятный свист.
Но жизнь прожита не за страх —
и перед Господом я чист.

Что впереди? Не предсказать!
Но что бы ни стряслось со мной,

я буду сердце вдохновлять
бессмертной Божьей красотой.

Я буду — свет, я буду — тьма,
а может, тем и этим враз.
И страсть, горячую весьма,
делить с хозяйкой синих глаз...

И в час рассветный, как во сне,
когда так свищут соловьи
смерть повстречаю по весне,
но не предам своей любви!..

* * *

Из смерти я вернулся в жизнь
и потому, наверно, счастлив!
Как будто засветилась высь
после тяжёлого ненастья.

Но не забыть мне, видит Бог,
невероятной тьмы, в которой
лежал я — страшно одинок,
с душой, сгорающей, как порох.

* * *

Так тяжелы подъёмы, спуски,
где каждый шаг — последний шаг,
где от трёхкратной перегрузки
стучит, пульсирует в ушах.

Мой путь не для наград победных —
в огонь, в пургу, в глухую ночь, —
он для того, чтоб среди бессмертных
мог смертный муку превозмочь.

* * *

Как жаждал я тебя спасти!
Да не сумел... И стонет сердце!
Прости, сестра, прости, прости,
но вы, друзья, в меня поверьте...

Да, я не Бог... Но сам же смог
из смерти вырваться на волю...
Как мир суров! Как мир жесток!
А без тебя, сестра, — тем боле...

* * *

О, Боже правый, почему же
жизнь так устроена Тобой,
что вместе с счастьем ходит ужас,
и как мне стать
самим собой?..

Вопрос поставлен... Но ответа
я до сих пор не получил...
И мне ни в чём покоя нету,
как будто он
когда-то был...

РАЗНЕСЧАСТНЫЕ

Всё казалось, что жизнь получилась?
Да куда там, развеялась в пыль...
Но живу, тратя попусту силы
и слагаю печальную быль...

На земле разнесчастных так много,
что из белого чёрным стал свет...
И всё крепнет на сердце тревога
за других, а меня будто нет!

КУСТ

А куст отцвёл и стал невзрачен,
как всякий придорожный куст...
И я, волнением охвачен,
душою выдохну: “И пусть...”

Отправляюсь в горы по тропинке,
петляющей между берёз
в зелёных, солнечных косынках,
достойных самых светлых грёз...

И вновь с любовью буду слушать,
как соловей, и чиж, и дрозд
на крыльях песен свои души
возносят — аж до самых звёзд...

Забывшись, рухну, как в перину,
в разросшийся, чуть влажный мох
да и засну, чтоб жизнь-кручину
заспать, как самый горький вздох...

ОБЛАКА

Облака высоки и кудлаты,
их полёт исполнен тишины,
с севера на юг по горным скатам,
на пороге золотой весны.

Я так много пережил на свете
и бывал частенько на мели...
Как тревожно ни подует ветер —
облака не улетят с земли.

И, наверно, снизу по-другому
облака предстанут предо мной —
белым дымом вишен и черёмух,
вьюгою-пургою снеговой.

И тогда, не думая о страшном,
я смогу, как облак молодой,
сам подняться и парить над пашней —
радостный, с высокою душой.

Эта радость строчкам передастся,
и они, как снегири на свет,
выпорхнут, чтоб в поднебесье мчаться
облакам клубящимся вослед.

* * *

Нет, я не Тютчев, вовсе не Есенин, —
я Переверзин — всполох из Приленья,
где летом стужа, а зимой мороз.
О, как они на душу тяжело давят!
Но можно, с ними совладав, о славе
подумать, только не всерьёз...

Всерьёз — и в поле, и на пьедестале —
мне не страшны ни муки, ни печали,
ведь я люблю ненависть врага
в прах разотру, как скорлупу ореха,
и на волне признанья и успеха
в прибой любой войду наверняка.

Я помню: ждёт бессмертие меня,
но если хватит света и огня
моей душе, чей трудодень суров,
с утра пораньше и до самой ночи,
а коли надо, то и хватит мочи
мне допоздна гранить гранит стихов.

Мой отдых — труд, дарующий свободу
по чести жить мечте своей в угоду
и верить в Бога, ибо лишь ему
обязан я, что всё же стал поэтом
и прозой охвачен, словно светом,
и выстоял, одолевая тьму...

Я — Переверзин, и в бореньях знаю,
чего хочу, чего не понимаю,
поэтому, как прочная броня,
любой удар приму без опасенья...
И всё-таки мне больше люб Есенин,
но Тютчев тоже дорог для меня.

* * *

*Памяти моего учителя
Валентина Григорьевича Распутина*

С утра совсем не по погоде —
дождь вдрызг размыл все колени,
душа своё слагала вроде,
как будто в тихом забытьи...

И вдруг звонок: "Распутин умер!"
О, Боже мой, какая боль!

И тотчас помрачнели думы,
вскипая, как морской прибой.

Перехватили спазмы горло,
и только волю сжав в кулак,
я не заплакал, но исторгла
душа: "Да будь ты проклят, мрак!.."

И всё же в знак благодаренья
я вспомнил классика слова:
"Да не покинет вдохновенье —
твоей души, она — права..."

Россия... Родина... Отчизна...
Мы — так осиротели вдруг!
Как будто жизнь — сплошная тризна,
и каждый день исполнен мук.

ЛЕВ АННИНСКИЙ

УПОР

*Бреду в глухой ночи по полю —
и на душе, как днём, — светло...*

Иван Переверзин

Так днём? Или ночью? Светло или глухо?

Кажется, это фирменный приём поэта Переверзина — взаимоупор противоположных начал.

"И в беде против воли надо счастье искать"... Беда и счастье нераздельны...

"Что мне смерть, когда нет жизни, что мне жизнь, когда нет смерти..." Нет одного без другого.

"Верю в тяжкий путь поэта, ведущий к свету через тьму"... Свет — через тьму?

И вот в этом, неотразимо обаятельном, на мой вкус, четверостишии — тот же взаимный перехват мотивов:

"Я правым был и был неправым, // тонул в воде, горел в огне, // и не боюсь ходить по травам, // ведь и они пройдут по мне..."

Думалось: вот встречу с автором и спрошу о том, как даётся ему этот приём... Встретился и не спросил, потому что разговор сразу пошёл не столько профессиональный, сколько душевный: не о строчках, а о том, каким смыслом наполняются повороты судьбы.

В самых общих чертах биография была мне знакома. А о душевных мотивах — добавлю...

Ивану Переверзину не пришлось мучиться, пробиваясь в печать: в годы, на которые выпало его литературное пробуждение (первое стихотворение он написал в четвёртом классе школы), Оттепель ещё не сменилась заморозками. Да не пугают и заморозки — вырастает он в среднеленской Якутии, не так уж далеко от полюса холода, но в достаточно тёплой литературной обстановке: у тогдашней советской власти в чести провинциальные самородки — противовес столичным горлопанам.

Так или иначе, печатается он с юности самым счастливым для начинающего автора образом. А занимается не столько поэтическим самовыражением, сколько делом: проблемами ленских деревень (чему помогает учёба в лесотехническом техникуме).

И вдруг — завязывает со стихами, отдаваясь сельхозработам, на поприще коих вырастает с положения рабочего до роли директора совхоза и выше.

Это не значит, что он стихов не пишет. Пишет. Но складывает в стол. То ли в мастерстве не уверен, то ли ждёт какого-то магического воздействия поэзии на повседневное бытие (скорее, и то, и другое, но второе для меня важнее, чем первое).

Шесть лет длится это добровольное затворничество, в финале которого (как раз на пороге громогласных 90-х годов) он извлекает стихи из схрона, отбирает из них полсотни, приносит в редакцию газеты “Социалистическая Якутия” и... за год пролетает ещё одну лестницу: от местных издателей до столичных.

Взлёт — от росных трав к опаляющим высотам.

А душа?

Путь души — непредсказуем. В школьные годы вовсе не думал, что станет поэтом, — нацеливался стать скульптором. Живопись где-то рядом, но главное — глина, обретающая форму. Отец, ветеран, оставивший здоровье в сырых окопах, каждое лето ездил на юг — подлечиваться — и привозил сыну порции глины для валяния. И сын валял, да так успешно, что за конную фигуру (в которой виден был Дмитрий Донской, а может, Александр Невский?) получил на конкурсе премию.

Так что отвлекло от этой стези?

Не смейтесь: спорт. Организм был создан для триумфов и в этой области: заработал первый спортивный разряд...

А потом? Организм не выдержал? Организм можно было и подлечить... Душа искала свой путь...

Стихи? Завязал! Почувствовал, что недостижимы такие предтечи, как Пушкин и Лермонтов. Пушкин — любимый поэт, Лермонтов — любимый поэт отца... А ты на этой стезе кто?

“Не хороши и не плохи, // не получаются стихи...”

И посоветоваться-то не знал, с кем. В районной редакции Николай Анциферов сказал: “Талант есть, но много пессимизма”.

Не пессимизма — максимализма много! Оставил стихи — на целое десятилетие. Но пера не бросил: отдавшись совхозному делу, писал статьи и очерки — о том, как надо обходиться с землёй, если уж взялся её обихаживать. Печатал эти статьи и очерки в газетах, в том числе центральных.

В них, я думаю, тем не менее, чувствовался поэт... Доросши до директора совхоза, вышел в поле... и обнаружил капусту, наглухо заросшую сорняком. Собрал сослуживцев. Закрыв все отделения хозяйства. Объявил воскресник. И сам вышел! И полон капусту так истоиво, что другие угнаться не могли! По существу, то есть по стилю — это был поступок поэта... Который не писал стихов...

А может, и писал... в стол. То есть не публиковал.

Жена интересовалась причинами такого упорного молчания. Успокаивал её: — Света! Всё должно созреть и само упасть с дерева... Пока ещё рано.

Срок вышел — к тридцати восьми годам, когда из Якутии переехал в Москву. В ту пору в столичных изданиях круто делили площадь “правые” и “левые”. Надо было решать, с кем ты.

“Остановись — у бездны — на краю!...”

Остановился — не на краю, а в центре мироздания, раздираемого краями...

Подборки стихов взяли журналы “Юность” и “Наш современник”. Одновременно! Левые и правые...

Наутро проснулся знаменитым. Книги стихов стали выходить одна за другой. Шли переводчикам: в Испанию, Францию, Голландию, Грецию... На Украину, в Грузию, Армению, Белоруссию... В Прибалтику...

В душе — центром мироздания — оставалась Россия. И тот Якутский край, куда при Столыпине переехали деды... и который стал камнем исхода, предметом непреходящей любви и верности — упором души поэта Ивана Переверзина.

Я для характеристики лирического героя сосредоточусь на нескольких горячих точках, в которых нрав, опыт и смысл пути (к шестидесяти годам!) выявились особенно рельефно. Но далеко не безоблачно.

Любовь. Бой. Почва. Смерть.

“Любовь — как рана ножевая”

После всех разрывов супружеское счастье ликует в стихах, венчающих финальный раздел итоговой книги. Песнь торжествующей любви (и вся книга) завершаются той самой строфой, венчающей книгу “Северный гром”:

“Прости, прости, забудь навек обиды — // и для того, чтоб сохранить семью // и чтобы жизнь в любви святой увидеть, — // остановись — у бездны — на краю!.. “

“Злая жуть”, “чёрная ночь”, “ледяная тоска” вроде бы отброшены, но сторожат строку и душу, так что чувство выбирается “из-под спуда”.

Любовь полна и адских соблазнов, и райского блаженства. То и другое пережито и описано с подкупающей открытостью. Грехи, от которых невозможно удержаться (будь то пьянящая неотразимость крымских женщин, огненный на морозе поцелуй сибирской подружки, тень ресниц молодой мулатки, а то и распахнутые глаза одинокой московской девчонки, подымающейся в метро по эскалатору), — за “костёр страсти” приходится держать ответ, возвращаясь под сень семейного очага в “пепле и золе” с головы до ног...

*В аду сгорю я, чёртв грешник,
за то, что от шальной любви
построил вдруг такой скворешник,
что в нём подошли соловьи...*

Это не гимн супружеской верности, но и не гимн эротическому разгулу, это именно стык, встреча, очная ставка, попытка соединить то и другое, объяснить на тот и этот счёт.

Может быть, объяснения в реальности случались и острые, с ядовитыми определениями, с криками: “Подлец, подлец, я знала, знала, знала!”, — а однажды чуть не до ножей дошло... Но не это потрясает лирического героя в реакциях лирической героини на его грехи, а то, как она в самые роковые мгновенья — молчит.

Молчит — словно что-то знает. Знает о нём то, что сильнее слов. И знает, что “это” не объяснить.

Что — “это”? А сам герой — может ли объяснить себе, почему именно молчанье так околдовывает его в героине? Или это он наделяет её тем знанием, какое она должна в нём распознать? Понять то, что держит его душу (то ли изнутри, то ли извне), — какая-то сила, которую лучше всего отнести... ну, естественно, к компетенции Царя Небесного:

“Но пока ещё желаю, — // да прости меня Господь! // забрести под кущи Рая, // где познала счастье плоть...”

Для равновесия рядом с Господом — “ядрёна мать” (Переверзев мастер таких неожиданных, “нечаянных” оговорок, и они не кажутся дерзкими, а наоборот — странным образом успокаивают).

Успокаивают, потому что такое словесное совокупление надо принимать, как неизбежность.

Не оттого рушится любовь, что факты её рушат: измены провоцируют обе стороны или разница в возрасте мешает союзу сердец. Мешает что-то в самом характере лирического героя. Какая-то несдвигаемая тяжесть в самой основе лиризма. Словно герой обречён тащить и себя, и подружку. Конечно, влюблён. Но...

“Но путь всё больше в гору, в гору, // всё меньше, меньше под уклон. // Зря ищешь ты во мне опору — // напрасно я в тебя влюблён”.

Одновременно: влюблён и напрасно влюблён.

“Отчего ж тогда упорно чудится, что я и ты – // словно над рекою чёрной разведённые мосты?!”

Тут слово “упорно” куда существенней нечаянного каламбура со словом “развод”. Я ж говорю: “случайные” проговорки – не случайны у Переверзина. Хотя он и сваливает всё то на черта, то на Бога:

“Что-то есть в тебе от Бога, // но во мне от чёрта есть...”

Примем. А теперь проследим, как чёртова энергия изливается на общественное поприще.

А там что?

“По морде кулаком”...

Бой с врагами на общественном поприще предполагает знание того, кого бьёшь.

Поначалу ничего не видно, только слышны удары, да ярость застилает глаза:

“И я до хруста стисну зубы // и посмотрю судьбе в глаза // тем взглядом яростным и грубым, // что беспощаден, как гроза!”

Потом в этой грозе всё-таки проступают некие приметы. Экономно прорисованы! Но кое-что прочитывается. Там не товарищи – там господа. Там трепачи-балаболки, свистуны на руинах основ, либеральные крысы, которые всё охаивают. Там “бесстыдное кино”, “постыдный сброд”, подменяющий всё “сексом и СПИДом”. Но сколько бы они ни совали палки в колёса, ничего у них не выйдет... “да и потом – а что с них взять?”

Типично переверзинская проговорка, придающая делу шуточный оттенок. Но дело-то в чём? Где мы, где они?

“Прости, но разве мы не сами // свой поезд гоним под откос?..”

Эта проговорка уже граничит с прозрением. Ещё миг – и вечно блуждающая герценовская боль (“мы не врачи, мы боль”) оборачивается герценовским же вечным вопросом:

*Кто виноват? Кому с досады
по морде двинуть кулаком?
А может, надо, может, надо
остаться русским дураком?*

Замечательно! Настоящая поэзия как раз и узнаётся по духовному бесстрашию.

*И пусть вокруг чужие рожки,
и пусть в карманах медяки.
Но мы, мой друг, с тобою всё же
не дураки... Не дураки!*

Тут всё-таки страх осаживает стих в боевую стойку:

*Поднимаем и, как стихия,
неустрашимо рухнем вниз
на рожки, нам навек чужие,
на стаи нас грызущих крыс!..*

Ну вот, распределились: тут – люди, там – крысы.

Однако где гарантия, что две-три исторические драки спустя в памяти внуков и правнуков те и эти очередной раз не поменяются ролями? Или нам мало памяти о братоубийственной гражданской войне? Вроде бы помним всё, и поняли всё. И сказано всё:

*И потому в минуты тризны
помянем всех сынов Отчизны,
что шли упрямо рать на рать
в междоусобище проклятой,
брат не щадил родного брата
и шёл за брата умирать.*

Так! А после тризны всё-таки так и тянет двинуть по морде того дурака! Или этого... Или того и этого по очереди. Ибо они опять мелькают. Без особых примет. Не успеваешь разобраться, где кто, а кулаки чешутся.

Может, Всевышний вразумит?

“Я не просил у Бога счастья, // я просто брал его в бою...”

В бою — брал. И берёт. А вот удержать не получается. Не тут таится сила, которую чувствует верная жена в бойце-победителе, чьи триумфы оборачиваются покаянием. Не тут его опора.

А где? Чем он воистину держится? Где почва?

Почва. До Киева ещё далёко

А вот что близко. Деревня, где выростал. Брусника. Тайга. Зверьё. Трава вокруг могил. Упрямество травы под снегом. Огонь в печке. Ушанка, сдвинутая на лоб. Вековые мхи. Кандальный звон, застывший в ледяном воздухе. Оленьи унты. Зима, хиусом сдирающая кожу, стужею просвистывающая дома.

Дома, рубленные в лапу. Яранги. Охотничьи избушки. Тишь. Олонхо — песни якутов. Тысячелетние мелодии, возносящиеся к небу.

“Но немо свинцовое небо, // молчанью земли нет конца, // лишь ястреб темно и свирепо // кричит, добивая песца...”

И звери, и птицы, и люди...

“Здесь люди времени не знают, здесь люди вечностью живут”...

И вечность, и привычка...

“Я привык к обжигающей боли — // кто кого, до конца, на износ, — // и возьмёшь ты за шкурку соболью // то ли жизнь, то ли иней волос...”

Иней волос — седина. Опыт, в котором мгновенье сливается с вечностью. Двужильность работника, охотника, таёжника. Плеск и шёпот Лены. Сосновый несмываемый загар...

Учтём, однако, что при всей отдалённости от столицы именно к Москве обращён зов души, и в мыслях — Россия, которую поэт должен воскресить стихами. И с нею — воскреснуть. По модели:

“Перестану валяться бессрочно // среди гиблых сибирских болот, // и тогда уж до Киева точно // мой язык как-нибудь доведёт”.

Замечательная проговорка: нет ничего глупее, чем в наше незалэжное время добираться до Москвы через Киев. Но без южного крыла, неотделимого от северного, не взлететь. И вот рядом с ледяными гранитами и вечными мхами контрапунктом возникает в стихах берёзовая заводь, цветут земляничные и черничные поляны, голоса щеглы, дрозды, скворцы и даже, прошу прощенья, соловьи, припадающие к розам.

Красиво поют? Можно бы опустить занавес?

*Но птиц, распевшихся красиво,
душою слушать продолжал,
как будто к ним себя счастливо
по воле Божьей приковал.*

Всё у Переверзина — по воле Божьей. Чуть не в каждом втором стихотворении поминается Всевышний. Иногда вскользь, в проговорку. Но иногда и в упор. И тут уже есть смысл вслушаться в диалог.

В диалоге этом (если отвлечься от вздохов “О, Господи!” или “Господи, прости!”, в которых тоже есть свой шарм) всегда чувствуется некая тяжесть со Всевышним. Зачем на земле несчастья? Сил не хватает? Бог приободряет: “Не всё предрешено”. То есть, может, сил и хватает. А если всё-таки не хватит, Он, “случись чего”, поможет. А не поможет — так придётся Ему простить. Слышите? Богу — простить! И расплатиться с Ним. Чем? Душой. Ибо “не только Богу, как в начале, но и себе принадлежу”. Иначе говоря: “Мне, человеку — человеку, // а Богу — Богово, конечно, // и будет в мире мир — всегда”.

Сомнительно, что при таком настрое будет мир. Вот уж, воистину, Бог нас, людей, создал, но и мы Его в ответ воссоздаём в сердце своём. Бог, конечно, поводырь, но человек идёт своим ходом и взаимодействует с Богом... не то чтобы на равных, но в таком контакте, когда можно сказать мягко, но твёрдо:

— Боженька, меня не тронь.

Взаимоупор: и мы перед Ним в ответе, и Он перед нами. За то, что у нас нет сил ни умирать, ни воскресать (заметим эту дилемму!). Душа не виновата, если о ней Бог забыл. И душу Богу лучше не обещать. Потому что чёрт тоже не дремлет... Ещё один взаимоупор.

В общем, Бог есть, но мир таков, что проблемы приходится решать так, словно Его нет или Ему не до нас. А если так, то дело не в Боге, а в нас.

Хотя, конечно, Он простит, если что. Если что – поможет. Особенно – в той любви, которая в этом мире всё время подвергается искушениям.

Травостой. Травопал. Траволёт

Два полюса у этого мироздания определяют колористическое напряжение: зелёный и синий.

Зелёный – цвет травы: “она растёт в воротах рая”, она “встаёт вокруг могил” – она “скрашивает общий фон” этой реальности.

Она стоит упрямо. Перегорает в пепел. Взлетает, подхваченная вихрем (что и побудило меня прибавить неологизм; “траволёт” к “травостой” и “травопалу”).

А синий – цвет неба, иногда – лазурный, иногда – яростный, грозовой. Но и грозовой необходим душе. Сердце – “синяя синица”, о синеву можно опереться, если есть крылья.

“Если породниться с небом, // то можно землю полюбить”.

Но контакт этих начал – небесного и земного – не радужный, а ранящий. Перейти грань, преодолеть пропасть можно, только если рискуешь душой. И телом. Отсюда лейтмотив: идти “по лезвию ножа”, “за шагом шаг, как по ножу”, “по лезвию клинка”. Иногда – по лучу, но и луч – как лезвие...

Жизнь вообще – путь по лезвию. Путь к смерти. Это, наверное, самый значимый лейтмотив у Переверзина: “жизнь подобна смерти”. “В смерти скрыта высь”; “Ведь если жизнь несёт грозу, // то смерть душе дарует крылья...”

То есть смерть – не конец жизни, а переход бытия в иное состояние, из которого бытие оживает вновь, чтобы опять перейти в таинство смерти.

Отсюда – переверзинские оксюмороны. Ад и рай – равны. Счастье или несчастье – неважно. “Я буду жить на этом свете, // я буду жить на свете том...” “Ведь если умирать, // то умирать от жизни, // сияющей, как свет...” “Помогите мне, друзья, // помогите с верной смертью!...” “Ад пережить сумею до смерти, // за рай приму однажды смерть...” “Смерть живую мёртвой жизни предпочту...”

Мотив слишком неотступный, чтобы быть случайным. Он явно связан в общем строем бытия. Строй бытия – или его расстройство – последний предел, на котором реализуется поэтическая истина.

Выбора нет: только через кровь, через боль, через пот. Через кровавый туман, через мрак, через огонь. Через молнии во тьме. Через тьму, которая сменяет тьму же...

Невозможно освободиться от мысли о “Числе Зверя”, которое проигрывает теперь “Слову” в вечной непримиримой борьбе. Человек в этом столкновении – обречён. Он – ближе к Зверю.

*Тот самый человек звероподобный,
которому печально глядя вслед,
мы думаем: он — сильный, он — свободный...
Но в силе и в свободе счастья нет.*

“Судьба с её печалью”

Счастье – мотив, достаточно сильно прозвучавший в поэзии тех авторов, которые, по меткому слову Бориса Слуцкого, оказались призваны к Слову – как “последнее из поколений войны”.

Поколение самого Бориса Слуцкого (“лобастые мальчишки невиданной революции”) пошло умирать за мировой коммунизм, ощущая невиданное счастье. Как и их младшие братья, спасённые довоенные дети, которые готовы были умереть всё за то же всемирное счастье. Совсем другое почувствовали

поэты, родившиеся уже в войну и вставшие на ноги в послевоенные скучные годы. От смертельного 1941-го до 1953-го, когда смерть генералиссимуса отчеркнула эпоху, — эти уже ни в какое светлое будущее не поверили, да и в Систему вживаться отказались — ушли в “сторожа и дворники”, только бы не иметь дела с химерами, из-за лживости которых “счастья нет”.

Нужно было дождаться поколения, которое преодолело бы безверие и, придя в жизнь уже в послесталинские годы, попробовало бы справиться с этим неподатливым миром.

Иван Переверзин рождается в переломном 1953 году. Двужильность, ощущаемая в его поэтическом характере, — не только от северной таёжной закалки, а ещё и от веры в то, что жизнь всё-таки сильнее смерти даже там, где смерть сильнее жизни. И что есть силы жить и воздействовать на этот мир, даже если он не поддаётся воздействию.

Только мир уже не похож в сознании этого поколения на тот, которому счастливы были служить мальчишки военной и социалистической эпохи. Никакой коммунизм теперь никому не светит. Миражи исчезли.

Каким-то подспудным чутьём новые властители дум (им около шестидесяти, и страна, можно сказать, в их руках), каким-то тёмным подсознанием чувствуют эти вошедшие в силу люди, что мир неподатлив, маловменяем, неисправим.

А всё-таки поддаётся!?

Да... если твёрдо стоять меж землёй и небом.

Отсюда — парадоксы Ивана Переверзина.

*От неба взгляд не оторвёшь
и вслед за ним не полетишь.
Как бы живёшь — и не живёшь...
Как бы горишь — и не горишь...
И существую так давно!
За что? Неясно самому...
Но так вокруг меня темно,
что вижу я за тьмою тьму...*

За тьмою тьма — это значит: за светом свет! Сколько бы не представлялись свету... .

* * *

На этой оптимистической ноте я закончил статью о Переверзине, написанную на стыке первого и второго десятилетий Нового века (и Тысячелетия!).

Пять лет, прошедшие с того момента, были мучительными: по неожиданности поворотов глобальной ситуации. И по горькому осознанию того, что общечеловеческий рай оказался недостижим.

Судьба довела нас до такой горечи, когда язык (язык нашей многонациональной Державы?) довёл-таки до Киева... .

По ходу этих лет я по-новому почувствовал поэзию Ивана Переверзина. И роль его поколения в этом карнавале, то есть в *преставлении светов*. Роль, которой оно, кажется, надеялось избежать: сбежать “в сторожа и дворники”. Это был бы лёгкий исход. Реален — тяжёлый.

В гимне торжествующей любви (и в гимне торжествующей Державы) вдруг проступило то, что подспудно якорило стих Переверзина: свинцовая тяжесть.

Изначально? Да. Счастьем дышало сибирское детство, счастьем дышала юность среди чистых снегов. Хотелось, раскинув руки, *опереться о синеву!* Так откуда мысль, что в синеве небес — “там крови нет, там нет разлуки”? Там — нет. А тут — есть!

Тут — и боль, и ад, и кровь — в необъяснимом таинстве подсознания. Пейзажи детства? Тяжёлый, горький дым заволакивает линию горизонта. Хочется уйти от тревоги... куда? В лес, по дороге, заросшей травой... .

“Трын-трава”? Нет, адские боли, кровавый туман. И тяжесть — непонятно откуда.

Станет ли это понятно, когда из счастливой сибирской молодости перевалит судьба на столичные трассы, взвалив на тебя ответственность?

Враги объявятся?..

А как же! Всё те же “либеральные крысы” и прочие порождения свободы чистогана. С этими – бой насмерть!

Хуже другое: когда не знаешь, кто друзья и кто враги.

Как быть, когда “врагами становятся братья...”

Вот с чем невозможно ни примириться, ни справиться. Беды сторожат отовсюду, но страшно, когда “в беде против воли // надо счастье искать”! Когда “душа не знает, что со мною, // и я не знаю, что с душой”.

Во что упереться? В стихе крепнет что-то... стальное. Что-то бетонное. Что-то гранитное. Выдержать!

Что выдержать? Смерть? Эка невидаль! Выдержать неразличимость жизни и смерти. Круговерть неукротимую!

“Неукротимая судьба: // и смерч, и круговерть, // где борет жизнь саму себя, // где смерть идёт на смерть”.

Вот с этой судьбой – попробуй сладить!

Поколение, получившее в наследство кладбище химер (в которые верили мы, идеалисты советской закалки!) и развалины Державы (которую они сами же и разваливали в экстазе Перестройки...) – поколение это переходит теперь на седьмой десяток.

Надо отвечать распаду. Нет больше укромных мест, где можно спрятаться от Державы. (От какой? Демократичной? Тоталитарной? Да уж какую судьба даст!)

А вдруг ты ей уже не нужен?

Стань нужен!

Впрочем, по-русски: сначала выпей.

“Пью за страну, // которой я не нужен // какой – забыл уж – // распроклятый год...”

Распроклятый может ведь обернуться и *праведным*... Как жизнь и смерть, которые запросто меняются местами. Вот для чего нужен гранит в характере: выдержать это!

*Только я хотел бы больше жизни
жизнь на смерть сегодня поменять,
чтоб отца увидеть после тризны,
чтоб увидеть после тризны мать...*

Вселенная распадается – душа упорствует:

*Милые, желанные, родные!
Как вы там, на небе, без меня?
Мне в глухой, брошенной России
одному не выжить средь огня.*

Огонь – беспредельно-адский. Он же – профессионально-прицельный:

*Посмеюсь, порадуюсь без меры
за себя, за вас, за даль, за близь.
И, шагнув на выстрел револьвера,
вновь в упор увижу смерть и жизнь.*

Не будем придирааться к рифме: “близь – жизнь”. Тут не рифма главное. Главное – упор, который всё это держит...

Упор!